

Binová, Galina Pavlovna

**"Новая волна" и метаморфозы "вечной" темы в
современной советской литературе**

Opera Slavica. 1991, vol. 1, iss. 1, pp. 22-29

ISSN 1211-7676 (print); ISSN 2336-4459 (online)

Stable URL (handle):

<https://hdl.handle.net/11222.digilib/115704>

Access Date: 01. 12. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.



Masarykova univerzita
Filozofická fakulta

Digital Library of the Faculty of Arts,
Masaryk University
digilib.phil.muni.cz

"НОВАЯ ВОЛНА" И МЕТАМОРФОЗЫ "ВЕЧНОЙ" ТЕМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Галина Бинова

Не утихает в советской литературе последних лет мощная волна "возвратившихся" произведений, исследующих сталинизм во всех его проявлениях, политических, экономических и нравственных последствиях.

Гораздо менее бурным, но не менее симптоматичным является в последние годы поток произведений о близком прошлом, о так называемом периоде застоя. Правда, порой казалось, что именно "близость" пережитого словно бы отпугивала писателей сказать правду и об этом времени. Поэт Наум Коржавин, на собственном опыте познавший удручающую атмосферу эпохи застоя, так пишет об этом времени: "Время, которое сейчас называют застанным, в каком-то смысле было хуже для литературы, чем сталинское. Литературе не страшна трагедия, страшна безнадежность. Когда у человека не остается не только надежд, но даже желаний - это уже за пределами искусства, это уже нечто антихудожественное".¹ Взаимоотношения художников со своей страной и своим временем в мрачный период застоя были неоднозначными: от полной совместности, компромиссности сознания (речь идет о писателях, которые, поддеваясь под внешнюю ситуацию, заботились не о чести, а об элементарной выживаемости) до полной несовместности, проявившейся в эмиграции многих талантливых писателей и поэтов (тот же Н. Коржавин, А. Солженицын, В. Войнович, В. Некрасов, В. Аксенов, И. Бродский и многие другие) или просто в физической смерти (Ю. Казаков, В. Шукшин, В. Высоцкий...). И то, что мы можем сейчас назвать десятки имен писателей, которые нравственно выстояли в те пасмурные годы, когда слово правды не поощрялось, а возникало вопреки, еще раз подтверждает истину: нравственность и талант неотделимы.

Литературу, художественно воплотившую эпоху застоя, называют "жесткой" или "другой" прозой, иногда "новой волной" в современной литературе. Эту бесстрашную, честную прозу представляют Л. Петрушевская, В. Пещух, Е. Попов, С. Каледин, М. Кураев, Ю. Алемковский и др. Это тоже своего рода "задержанная", репрессированная литература, ибо многие произведения названных авторов написаны в застойные времена, а напечатаны только сейчас. Литературу эту критика и читатели часто упрекают в пессимизме и безысходности, однако именно в этом ее polemическая заостренность, альтернативность по отношению к официальной пропаганде и оппозиционность по отношению к политизиро-

ванной мифологии всеобщего благополучия, компенсация за годы беспросветной серости и ура-оптимизма. "У искусства нет иного выхода, кроме безраздельного слияния с дисгармонией расчеловеченного мира".² Иными словами, на пути эстетического преодоления античеловеческого мира происходит заклятие его гуманизмом и заострением (как отметил В. Ерофеев: "Мой антиязык от антижизни"). Таков художественно необычайно концентрированный рассказ Л. Петрушевской "Новые Робинзоны. Хроника конца XX века" (Новый мир, №. 8, 1989) - своего рода конспект романа. Это рассказ о том, как человек трагически теряет опору в обществе и как в нем, социально незащищенном существе, резко обостряется инстинкт самосохранения. Выжить любой ценой - единый критерий существования, неизбежно сплзающегося к самым примитивным формам на грани обеспечения чисто животных потребностей. Беспросветность тупого боя за выживание сгущается в сплошном, плотном тексте Петрушевской. Но и в этой безысходности есть свет, есть любовь к жизни от противного, именно на пути эстетического преодоления материала.

Почти лабораторно исследуют авторы бацилл отчуждения, деформации, отчуждения людей, зачастую людей самых близких. В повести Ю. Красавина полоса отчуждения проходит между матерью и сыном. Из мозаики психологических состояний складывается человеческий характер, сформированный тяжкими годами нужды, горя, укоренелой несвободы (Ю. Красавин: "Полоса отчуждения". Новый мир, №. 8., 1989). В рассказе В. Стукачева отчужденность между сыном и отцом перерастает в злобную, почти звериную ненависть (В. Стукачев, "Папаня", Литературная газета, №. 12, 1990). В трагическом рассказе "Людочка" (Новый мир, №. 9, 1989) В. Астафьев развивает мотивы "Печального детектива", с болью рисует горькую, униженную жизнь деревенской девушки, хрупкого, беззащитного перед миром жестокости существа. Судьба Людочки, ее доверчивость и доброта уязвимы окружающей ее профанацией жизни, раскрашенной "наглядной агитацией" застойных лет, условной риторикой и булыжниками громких плакатных фраз. Рассказ этот словно очерк с натуры. В прозе последнего времени слово "натуралистический" приобретает особый смысл и вес. "Другая проза" - это по сути дела неонатуралистическая волна, скрупулезно фиксирующая душевную неустроенность или духовную пустоту героев. Стремление в натуральную величину зафиксировать этапы расчеловечения выливается в своего рода "соционаутуризм" в повестях Ю. Полякова "Апофегей" (Юность, №. 5, 1989) и "Стройбат" С. Каледина (Новый мир, №. 4, 1988), которые А. Агеев назвал "двумя полисами единой мозаики картины нашего общества".³ С. Каледин глазами своего героя Кости Карамышева рисует колоритную картину стройбата, где извращены все человеческие ценности. В атмосфере пьянства, воровства, наркомании формируется, вернее, деформируется психология молодых людей, которые предпочитают отстрадать безропотно год издевательств и унижений, чтобы второй год измываться и унижать самому. Подобную "школу жизни" прошел и Валерий Чистяков, герой трагикомического нравоописательного фельетона Полякова. Наученный чуять реальную силу и подчиняться ей, Валерий легко вписывается в мир, законы которого мало отличаются от стройбатовских,

и уверенно магает по ступенькам карьеры, теряя иллюзии, идеалы, а заодно и моральные качества. Внимание авторов этих по-вестей в соответствии с возможностями социографической прозы переключено с человека на среду его пребывания. Психологически глубоко и убедительно разработанных характеров мы здесь не найдем. Неонатуралистическая волна выполняет здесь в первую очередь важную негативную функцию как симптом крушения общественных ценностей и идеалов.

Закономерно встает вопрос: что же, с потерей общественной перспективы кончается человек, смысл его индивидуального существования? Ведь есть же самоценность жизни и любви, в какую бы мрачную эпоху мы ни жили. И в ненастные времена любовь остается непреходящей ценностью, должна быть даже глубже, преданнее, ценимее как противостояние пошлой реальности, тушику обыденности. Не случайно же вся настоящая литература и о любви тоже. Правда, в последние годы, когда мир на глазах меняется, пульсирует, явно ощущается перекос в сторону гражданских тем. Теме любви не везет. Интимное отступило перед общественным и историческим. Ведь и из современной советской поэзии любовь почти исключена, а исключить главный лирический мотив из поэзии – это все равно, что лишить поэзию души. У нас дошло даже до того, что в оценке А. Ахматовой величие ее поэзии связываем прежде всего с гражданскими мотивами (в первую очередь с "Реквиемом"), забывая, что без замечательной любовной лирики не было бы и Ахматовой поздней. И прав А. Кушнер, считающий, что отсутствие подлинной любовной лирики в современной поэзии, неспособность поэтов на нее, выдает их общую политическую несостоятельность, ставит под сомнение самые высокие гражданские темы. К сожалению, и в прозе самые неудачные страницы, самые постыдные провалы связаны с любовными сценами. Можем ли мы представить "Анну Каренину" или "Тихий Дон" с подобным изъяном? В любую самую революционную эпоху есть еще жизнь человеческого сердца. Ибо, как говорил А. Франс: "В человеке заложена вечная возвызывающая его потребность любить". Как же эта большая тема – жизнь человеческого сердца – показана в современной советской прозе? Что касается героев "новой волны", то о любви как возвышающем их чувстве чаще говорить не приходится. Просто не находят они в себе таких чувств и даже не горюют об этом. Герои рассказов Л. Петрушевской живут сиюминутными будничными, нередко просто низменными движениями души. Стадный образ жизни в "своем кругу" (Л. Петрушевская, "Свой круг". Новый мир, №. 1, 1988) проявляется в беспорядочных мимолетных связях, в извращенности разнужданных сексуальных игр, в которые они играют с большим хладнокровием. На первый взгляд кажется, что индивидуалистические чувства и амбиции персонажей "новой волны" лежат сугубо в личной сфере, они не вписываютя в общество и им нет дела до общества. Но чувства не существуют отдельно от человека, а человек – от общества. Культура, в том числе культура чувств, создается и постигается не сразу. И все лично пережитое тоже исторично, потому что личная судьба каждого из нас связана с историей. В "Своем кругу" как бы вскользь упоминаются социальные катаклизмы: "Десять ли лет промло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские

или югославские события, промли какие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях – все это пролетело мимо".⁵ На первый взгляд, исторический круговорот кажется ничего не значащим фоном, но он – барометр и индивидуальной, личной жизни героев. И их демонстративная нравственная и политическая индифферентность – это тоже своего рода противостояние официозной морали идиотов типа милиционера Валеры, мечтающего, что "скоро все изменится и все будет как при Сталине, а при Сталине вот был порядок". И дикий разгул страстей, буйство плоти и почти патологическая чувственность – это естественная реакция на патологию времени.

Патология времени деформирует человеческие души. "Я социально остервенел", – признается Б. Василевский.⁶ Герои Петрушевской производят на читателя именно такое впечатление – остервенелых. И вместе с утратой социального оптимизма произошла утрата духовная. Когда-то А. Солженицын спрашивал: "Что же будет в нашей стране, когда правда обрушится водопадами?" Правда обрушилась и принесла разобщенность и холодность, вместо любви – отчуждение и одиночество. Нужно отдать должное: не все герои пассивно смиряются, осознав свою духовную умербность. Как говорил С. Залыгин: "Отсутствие чего-либо человеческого в человеке – это не отвлеченное нет, это всегда "нет" какое-нибудь страдальческое, смешное, злое и т. д."⁷ Страдальчески осознает свою духовную неполноценность герой повести В. Рыбакова "Не успеть" (Нева, №. 12, 1989): "...эти объятия были как бы обман, имитация, они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл – и не давали ее. И поэтому, как бы самозабвенно ни распахивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощущив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, не замыкающая нежность – я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня".⁸ Не всегда было так. Порой, разглядывая фотографии, герой "откатывался душой туда", в недалекое прошлое, когда были еще силы и чувства: "Вот же мы, чувствовали, вот какие мы на самом деле – веселые, счастливые, свободные, жадные друг до друга и бережные друг к другу, а остальное все, что, как плесень, покрыло нас теперь, – это просто от усталости, от суеты, это наносы, стоит хоть на один вечер смыть их, и сверкнем мы вот такие..."⁹ Но жизнь – "бездушная, безмозглая гонка", когда люди не успевают жить, – сделала свое. Повесть эта имеет гротескно-фантастический мотив. Люди "изнеженные", т. е. те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности, не выдерживают, покидают землю. У них помимо воли нарастают крылья, и они улетают. Финал повести беспросветно пессимистический. Нарастают крылья и у главного героя. Но отлет для него – не освобождение, он мечтает об одном – взлететь повыше, в стратосферу, чтобы скорей задохнуться. Над страной нависла угроза, что останутся только "безнадежные алкоголики и большое начальство".

Тема шемячего одиночества, душевной неустроенности и в то же время устремленности к чему-то непрожитому, небанальному

остро звучит в рассказе Ю. Головина "Птица, которая уже прилетела" (Ю. Головин, Дельфины. Повести и рассказы. Москва 1989). Герои - два случайных попутчика в ранней электричке. Оба неприятные, одинокие, жаждущие тепла, похожие на птиц, "которые уже прилетели, а весны еще нет", готовые залететь в любую форточку, чтобы погреться. Героиня рассказа Петрушевской, женщина по прозвищу Али-Баба ("Али-Баба". Аврора, №. 9, 1988) знакомится в пивнушке с симпатичным молодым человеком, идет к нему ночевать. Засыпая, преисполнена нежного чувства благодарности, "после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился". Женщина пытается отравиться. В рассказе Петрушевской "Такая девочка" (Огонек, №. 40, 1988) перед нами странная "девочка", курящая, плачущая, зазывающая всех встречных мужчин в постель. Типична героиня Петрушевской - не простиутки (как у В. Кунина), не пьяницы идиоты (как нередко у В. Ерофеева), а более или менее нормальные люди интеллигентных профессий, часто умственно незаурядные. Г. Вирен отмечал, что проза Петрушевской лишена "метафоричности, изыска, элегантности, да и вообще красоты".¹⁰

Это антиэстетичная, мокриующая, жестокая, стущенная до предела проза, которую не все принимают и не очень печатают. Но это самобытная искренняя проза. Это - правда о судьбе человека, прежде всего о женской судьбе. Героини Петрушевской не обаятельны и не милы, они циничны и ожесточены жестоким миром, "изломаны злым идиотизмом расейской жизни". В уродливых условиях извращаются и материнские чувства, родители отчуждаются от детей. Дико проявление материнской заботы у героини "Своего круга". Несколько раз упоминается в рассказе о том, что одна из членок "своего круга" родила мертвого ребенка. Это мрачное сочетание "родить мертвого" - символично. Интересно, что неспособность родить ребенка - нередко закономерное следствие неполноценности в любви. У героини рассказа В. Токаревой "Первая попытка" (Новый мир, №. 1, 1989) плод, дожив до определенного срока, получает обратное развитие, уменьшается и погибает. "Врачи искали причину, но Мара знала: это ее любовь приняла обратное развитие и, не дозрев, стала деградировать, пока не умерла".¹¹ Сломанные ростки человеческих связей убивают естественные возможности, нереализованное материнство делает женщину как бы несостоявшейся. Литература - не прокуратура - произнесла Петрушевская в одном из интервью. Но объективированная беспристрастность "другой прозы" - только кажущаяся, рассказы Петрушевской полны пронзительной горечи и мучительно-го сострадания к людям с неустроенной жизнью души, оделенным счастьем и теплом, заботой и пониманием. Для "новой волны" вообще характерна установка на достоверность авторского персонажа. В разных подобиях и обличиях автор - действующее лицо, феномен присутствия и участия бесспорен. Каждый рассказ Петрушевской - это мастерская инсценировка жизненных микроситуаций и почти стенографическая запись словно подслушанных на ходу разговоров, исповедей. И еще: творчество Петрушевской, как и других представителей "новой волны" - это безжалостный диагноз болезней общества, которые и потребовали его радикальной ломки и перестройки.

Ирония - основное писательское оружие В. Токаревой. И о любви она тоже пишет так - намеренно снижая и развенчивая душевные движения своих персонажей. Эта установка проявляется во всем - в тоне, в нередко банальной афористичности и натужной парадоксальности и игре слов, что не оставляет сомнения в ненастоящности, ненатуральности чувств героев. Когда один за другим читаешь рассказы Токаревой, они сначала кажутся свежими и оригинальными, потом - однообразно скучными, ироническая однотональность, освобожденная от художественности, приицается, начинает раздражать. Парадоксальность и ироничность очень характерны для "новой волны". Возьмем, например, начало рассказа Петрушевской "Свой круг": "Я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще". Но у Петрушевской ирония многослойная, часто трагическая, у Токаревой же заданная ироническая универсальность нередко дает нулевой эффект. Одним из наиболее удачных, на наш взгляд, является у Токаревой уже упомянутый рассказ "Первая попытка". Токарева воплотила здесь вечное женское начало - желание любить и быть любимой - в лице Мары, представляющей собой некую современную вариацию бессмертной чеховской Душечки. Это по сути дела "закодированный" роман, срез всей жизни героини - от рождения до смерти с установкой на доминантную потребность - любить. Но если в чеховской героине преобладала мотыльковая легкомысленность, то у Мары - напор, целеустремленная нахрапистость, как говорит о ней автор, она "давила", ей невозможно было не подчиниться. Выполненная природой как потребительница, она магнетически притягивает к себе очередную жертву. Каждая очередная смена партнера для нее - это форма самоутверждения и приспособления к меняющимся жизненным обстоятельствам. Но это была только иллюзия обновления жизни, на самом деле ее жизнь была как бы мотором, работающим вхолостую, словно непрерывное выбрасывание в космос бесполезной энергии. И все-таки жалость к Маре у читателя остается. И остается вопрос: был ли какой-нибудь смысл в этом человеческом существовании? Ведь вспыхнуло же однажды вдруг что-то в Маре при встрече с Сашей: "...с этим человеком хотелось всем делиться, оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку. Так просто, задаром подарить душу и тело, только бы взял. Только бы пригодилось. Оказывается, в ней, в Маре, скопилось так много неизрасходованных чувств, слов, нежности, ума..."¹²

Но вспыхнуло и погасло. Первая попытка - это сорок пять лет, отпущенных Маре. Второй попытки не будет. "Все кончилось, не успев начаться". Неспособность любить обнаруживает полную жизненную несостоятельность и Эли, героини рассказа Токаревой "Хеппи энд" (Огонек, №. 10, 11, 1990). И опять какая-то ненатуральность поисков счастья. Как бы жизнь и чувства на пробу. Этот мотив жизни-игры особенно ощущим в повести Л. Жуховицкого с символичным названием "В близком отдалении" (Нева, №. 11, 1988). Ее герои - молодые люди, одиночки, обмылки, обломки распавшегося. Не зная, "куда жить", они словно бы и не живут, а играют в разные игры. "Влюбилась - значит, по уши и на всю жизнь. То есть до новой роли, потому что новая роль - это новая жизнь..." - говорит одна из героинь о стиле жизни своей

подруги.¹³ Но это ложь. Герой повести постигает в finale истину. Жизнь не театр. Актеры могут играть один и тот же спектакль по десять раз. Мы не играем, а живем. Живем один раз, начисто. Неразборчивые связи обесцвечивают чувства. Если море зачерпнуть в ладонь, даже море потеряет цвет. Не состоялась любовь, не состоялся талант, не состоялась судьба. Близость не сближает героев, души не рифмуются, отчуждаются. "Яростный эгоцентризм Анжелики словно выкигал все вокруг", - пишет автор. Анжелика, Мара, Эля - эти героини современной прозы с экзотическими именами - родные сестры. Эта похожесть образов, повторяемость ситуаций, нагнетение, массированность фактов симптоматичны для современной прозы вообще и для "новой волны" в особенности. Да, все это от жизни. Да, люди стали холоднее, ожесточеннее. Да, в судьбах героев недостает человеческого тепла, любви, взаимопонимания. Неутешительная констатация, которая не придаст нам счастья. Мы "объелись" негатива и "чернухи" в литературе. И есть опасность возникновения обратной связи. Права Е. Ржевская, которая предупреждает: "Массированность фактов, не несущих новых нравственных постижений, может перекрыть источники света. И тогда может оказаться подавленным, а не просветленным сложный, ранимый внутренний мир человека. Может истончаться грань между добром и злом, утрачиваться радость жизни, возникать отчуждение, ожесточенность".¹⁴ Как видим, неординарность страниц о любви, лирических рассуждений о "свойствах страсти", пробуждении души - редкость, если не уникум в современной прозе. В этой сфере как никогда проявляется острейший дефицит того, что Пушкин называл "смелостью изобретения". Неужели о любви уже "все сказано"? Кризис любви? Или настолько мы ущербны, что не способны на большое чувство? Не хочется верить. Конечно, из беспросветного цинизма, из бесконечной апатии и лицемерия рабской эпохи литературе труднее возрасти, тем более восплеть светлые и возвышающие чувства любви. Здесь нужна особая внутренняя "тайная свобода". Найдут ли ее в себе наши писатели-современники?

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 КОРЖАВИН, Н.: У нас нет права на пессимизм. Московские новости, №. 7, 1989, с. 16.
- 2 ГОЛЬДМАН, А.: Социология романа. Западный Берлин 1971.
- 3 АГЕЕВ, А.: Власть тьмы и тьма власти. Литературная газета №. 25, 1989, с. 4.
- 4 КУШНЕР, А.: Поэтическое восприятие мира. Литературная газета №. 20, 1989.
- 5 Новый мир №. 1, 1988, с. 120.
- 6 ВАСИЛЕВСКИЙ, Б.: Мы все социально остервенели. Литературная газета №. 20, 1989.

- 7 ЗАЛЫГИН, С.: Из записок прошлого года. Литературная газета Но. 1, 1990, с. 6.
8 Нева Но. 12, 1989, с. 16.
9 Там же, с. 17.
10 ВИРЕН, Г.: Такая любовь. Октябрь Но. 3, 1989, с. 203.
11 Новый мир Но. 1, 1989, с. 132.
12 Там же, с. 136.
13 Нева Но. 11, 1988, с. 99.
14 РЖЕВСКАЯ, Е.: О самоценности жизни. Литературная газета Но. 31, 1989, с. 3.